

РИЖСКОЕ ЛЕТО

ДО САМОЙ СУТИ

СЕГОДНЯ вечером на дзятарскую эстраду, когда рассядутся оркестранты и притихнет публика, выйдет высокий человек с внешностью весьма своеобразной и запоминающейся (мне лично он напоминает нахохлившегося орла). Внешне он спокоен. Говорят, вулкан спокойный страшнее вулкана действующего. И вот уж некое предощущение, коснувшись сначала оркестрантов, приходит в зал. Человек становится за дирижерский пульт. Еще секунда — и начнется действие. Палочка поднята...

Это крупнейший советский дирижер Евгений Александрович Мравинский и «его» оркестр — заслуженный коллектив РСФСР, Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Хочется рассказать о них молодым читателям нашей газеты. Исполнить это нелегко. И об оркестре, и о его руководителе можно написать сотни страниц (что, кстати, уже и сделано). С скромная газетная «площадь» позволяет набросать лишь «эскиз с натуры»...

И как передать те особые ощущения, что навсегда связаны у меня с этим дирижером, с этим сложным и противоречивым организмом, объединяемым одной волей, одним художественным импульсом? Десятки раз слушал я Мравинского; звучали Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Брамс, Вагнер, Брукнер, Глазунов, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Салманов. Одно удавалось ему лучше, другое — хуже, но всегда оставалось впечатление события, необходимости, мистерийности, полета — именуйте это как угодно. Вы подымались куда-то высоко, в горы, и пусть при этом дышалось иногда с трудом — все вознаграждалось возникающей при этом перспективой, панорамой как бы «с птичьего полета». Искусство Мравинского и его детища — это искусство, уходящее ввысь и туда же зовущее...

Сам Мравинский для журналистов, интервьюеров малодоступен. Передо мной его «досяе»: считанные разы высказывался он о му-

зыке, о себе. Воспользуемся имеющимися «крохами», чтобы яснее сделался читателю его облик. Итак, воображаемое интервью, «интервью-монтаж».

— Возможна ли объективная «интерпретация»?

— На мой взгляд, любое исполнение — это всегда в той или иной мере субъективная трактовка произведения, его индивидуальное истолкование. Абсолютно объективной интерпретации не бывает. Музыка ведь дает неисчерпаемые возможности для разнообразного и все более глубокого ее понимания. И у каждого исполнителя это понимание неизбежно оказывается своим, личным, хотя и опирается на то объективное, что содержится в произведении. Я против анархического произвола в исполнительской трактовке и люблю заранее продумывать во всех деталях план исполнения из тщательного изучения материала. Но я вовсе не считаю, что найденное мною истолкование есть единственно возможное и полностью исчерпывающее авторский замысел. Утверждение некоторых исполнителей: «Я делаю строго по автору» — это только декларация.

— Как вы относитесь к эмоциональности в музыке?

— Должен признаться, что я высоко ценю и очень люблю сдержанную форму выражения. Мне далек, например, Малер, с его чересчур откровенными и многословными эмоциональными излияниями (исключение — замечательная «Песнь о Земле»). Когда я слушаю его некоторые непомимо грандиозные, рассчитанные на потрясающий эффект вещи вроде «симфонии тысячи участников» (Восьмой), мне приходится на память слова Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Куда больше впечатляет, например, лаконичнее изображение бури Глинкой в балладе Финна из «Руслана» («Волшебный вихорь поднял вой»); всего лишь несколько грозных аккордов меди, но передано самое главное, образ создан, мысль высказана...

— Как вы впервые осознали, что дирижирование — ваше призвание?

— Сейчас, когда я задумываюсь о пройденном пути и пытаюсь вспомнить, кто и ког-

да впервые породил во мне неистребимую страсть к дирижированию, то в моем представлении возникает Марининский театр 1918—1919 годов. Там я, еще совсем юный, работал статистом в мимансе (со мной вместе работал и Николай Черкасов). Вспоминаю человека, чем-то похожего одновременно на Вагнера и Наполеона, наделенного ярким талантом, неиссякаемой энергией, громадной волей. Это был знаменитый тогда Эмиль Купер, совмещавший в себе главного дирижера и художественного руководителя театра. Именно он и вприснул в меня тот «гран отравы», который на всю жизнь связал меня с дирижерским искусством. Одно время я помещался на Купере, на его дирижерской манере. Этот человек умел мгновенно установить в коллективе железную дисциплину, подчинить себе самых капризных солистов, добиться выполнения своего творческого замысла...

Особенно интересны высказывания Мравинского о Шостаковиче. И вот почему: мы не найдем, пожалуй, в истории искусства другого примера дирижера, столь тесно связавшего себя с творчеством современного автора. Следует подчеркнуть, что это уникальное содружество зародилось в драматичной обстановке.

— В 1937-м мне, тогда еще молодому дирижеру «без имени», неожиданно поручили подготовить только что законченную Пятую симфонию Шостаковича. До сих пор не могу понять, как это я осмелился принять такое предложение без особых колебаний и раздумий. Если бы мне сделали его сейчас, то я бы долго размышлял, сомневался и, может быть, в конце концов не решился. Ведь на карту была поставлена не только моя репутация, но и — что гораздо важнее — судьба нового, никому еще не известного произведения композитора, который недавно подвергся жестокой нападкам за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и снял с исполнения свою Четвертую симфонию.

Премьера Пятой симфонии прошла, как это теперь известно из учебников, с огромным успехом. Пожалуй, впервые тогда музыка Шостаковича стала по-настоящему общественным событием. С тех пор и на протяжении десятилетий отношение к ней Мравинского иначе как рыцарским не назовешь. В историю советского искусства будут вписаны эпизоды,

рисующие преданность и отвагу дирижера — смелого первооткрывателя «звездной плеяды» великих симфоний, в том числе и посвященной ему Восьмой симфонии.

— Величие Шостаковича определяется для меня прежде всего значительностью той общественной и нравственной идеи, которая проходит через все его творчество. Это мысли о том, чтобы не было людям плохо, чтобы они не мучились и не страдали из-за несправедливости и подавления. В его музыке звучит голос совести, направленный против всего, что эту совесть задевает, оскорбляет, больно ранит. Кстати говоря, и в жизни Шостакович не выносит, когда нарушается справедливость и кто-то незаслуженно страдает, когда проявляют равнодушие и жестокость к людям. Совесть, обостренное восприятие зла и человеческих страданий, желание сделать так, чтобы всем было хорошо, — драгоценные качества той лучшей части русской интеллигенции, наследником которой является Шостакович.

Мравинский никогда не говорит «на ходу». Высказанное — не «звук пустой». А то, что продумано и выношено. Таков он и в работе, когда стоит перед своим зеркалом — оркестром. Зеркало? Подобное определение, пожалуй, не будет метафорой. Мравинский, как известно, с другими коллективами не выступает. Его воля, ум, талант в течение 35 лет сконцентрированы на симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Итог: каждый оркестрант — немножко Мравинский, а объединившись, они дают некую гигантскую проекцию именно этой художественной личности. Более того, — и с другими дирижерами оркестр остается «коллективом Мравинского»...

...Начинается концерт. Это что-то уже игралое. В последние годы репертуар Мравинского расширяется мало. С ним, с репертуаром, происходит иная пространственная метаморфоза: он углубляется. Согласитесь, что это предпочтительнее. Мы ищем глубины, тянемся к глубоким открытиям, благодарны за них художнику. Высота и глубина — в искусстве понятия соизмеримые, близкие. Это и есть суть искусства. Мы знаем, «до самой сути» хотел дойти в жизни и искусстве поэт. Такова цель и музыканта Мравинского.

С. ВОЛКОВ